

### Глава III

***Воззрения Белинского и его кружка в 1839 г. – Встреча Белинского с студентом Кавелиным. – Мои письма к г. Краевскому о Белинском. – Отрывки из письма ко мне г. Краевского. – Мой отъезд из Москвы в деревню. – Возвращение в Москву. – Еще письмо г. Краевского. – Вечера у Боткина. – Статья Белинского по поводу книжки о «Бородинской годовщине». – Негодование Белинского против Менцеля. – Отъезд мой с Белинским из Москвы.***

\* \* \*

К Белинскому я заходил каждое утро...

Он очень хандрил и жаловался на боль в груди... Обстоятельства его были в это время печальные. Степанов, издатель «Московского наблюдателя», платил ему помесечно (да и то неаккуратно) какие-то ничтожные деньги за редакцию. Белинский сначала был увлечен мыслью стать во главе журнала, сотрудниками которого должны были сделаться все его молодые и талантливые друзья... Он твердо был убежден, что при их содействии, соединенном с его кипучей, энергической деятельностью, успех журнала будет несомненен... «Я покажу, чем должен быть журнал в наше время», – писал он ко мне... Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходе пятой книжки все средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о том, что журнал переходит под редакцию Белинского; непрактичность и издателя и редактора, пустивших очень небольшое число объявлений о преобразовании журнала, в которых притом глухо и неопределенно сказано было о переходе «Наблюдателя» от г. Андросова (бывшего редактора) под новую редакцию. Впрочем, и это, может быть, не зависело ни от издателя, ни от редактора. И наконец, то примирительное направление первых книжек возобновленного «Наблюдателя» – направление, которому публика никак не могла симпатизировать.

Сотрудники видели, что дело не ладится, и охладели к журналу. Белинский был недоволен составом первых книжек и совершенно упал духом. Между ним и некоторыми из его друзей произошли недоразумения: с одним из них, Боткиным, как я говорил уже, Белинский в течение нескольких месяцев совсем не видался; Константин Аксаков, начинал с ним внутренне расходиться, уже слишком склоняясь к славянофилизму...

При таких неблагоприятных обстоятельствах Белинский задолжал в лавочку. В долг ему не хотели ничего отпускать. Обед его, при котором я не раз присутствовал, был и без того неприхотлив: он состоял из дурно сваренного супа, который Белинский густо посыпал перцем, и куска говядины из этого супа... Конечно, Белинский не мог умереть с голода – близкие люди не допустили бы его до этого; но жить благодеяниями – и еще при сознании своей силы и таланта, при уверенности, что он мог бы приобретать достаточно своими трудами – нелегко. Всякий дрянной фельетонист, с некоторым практическим тактом, был гораздо обеспеченнее Белинского, живя только одним своим ремеслом... При своих внутренних силах и энергии Белинский был бессильным ребенком в жизни, как многие, впрочем, умные люди, принадлежавшие к его поколению, – и вследствие этого легко и за ничтожную плату отдавался в руки спекуляторов, ужасаясь мысли умереть с голоду или жить благодеяниями, что еще хуже...

Через несколько времени после приезда моего в Москву Белинский уже объявил мне, что «Наблюдатель» продолжаться не может. Неудачу его он приписывал разным причинам, – но он в это время еще не подозревал, что в самом направлении, которое он хотел придать журналу, заключалась невозможность его успеха.

Увлечшись толкованиями Бакунина гегелевой философии и знаменитую формулой, извлеченную из этой философии, что «все действительное разумно», – Белинский проповедывал о примирении в жизни и искусстве, усиливаясь во что бы то ни стало, против своей природы, сделаться консерватором, и с ожесточением ратовал за искусство для искусства. Он дошел до того (крайности были в его натуре), что всякий общественный протест против

старого порядка казался ему преступлением, насилием; французская революция – делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмеливавшихся посягнуть на разрушение государственного порядка, и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходившим свыше... Он с презрением отзывался о французских энциклопедистах XVIII столетия, о критиках, не признававших теории «искусства для искусства», о писателях, заявлявших необходимость общественных реформ и стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Он с особенным негодованием и ожесточением отзывался о Жорж-Санд. Искусство составляло для него какой-то высший, отдельный мир, замкнутый в самом себе, занимающийся только вечными истинами и не имевший никакой связи с нашими житейскими дрязгами и мелочами, с тем низшим миром, в котором мы вращаемся. Истинными художниками почитал он только тех, которые творили бессознательно. К таким причислялись Гомер, Шекспир и Гете. Гете назывался не иначе, как олимпийцем. Шиллер не подходил к этому воззрению, и Белинский, некогда восторгавшийся им, охлаждался к нему по мере проникновения своей новой теорией. В Шиллере не находил он того спокойствия, которое было неперенным условием свободного творчества, того объективного, бесстрастного взгляда, который проявлялся в произведениях олимпийца Гете, за исключением, впрочем, 2-й части «Фауста», которая всегда казалась Белинскому сухой и мертвой символисткой... Пушкин, к великому, впрочем, сожалению Белинского и его друзей, также не совсем подходил под их теорию, – в нем не отыскивался элемент примирения, и потому стихотворения Клюшникова (?), в которых ясно выражался этот элемент, были признаваемы Белинским и его кружком хотя уступающими Пушкину по обработке и форме, но несравненно более глубокими по мысли.

Светлый взгляд Белинского затуманивался более и более; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорией; Белинский незаметно запутывался в ее сетях, которые еще скреплял Бакунин. Его свободной, в высшей степени гуманной природе тяжело, неловко, тесно и душно было такое рабское подчинение философским категориям и формулам, в которых еще тревожно путался сам Бакунин.

К этому присоединились еще – неудача «Наблюдателя», долги, размолвки с приятелями. Я застал Белинского в напряженном, лихорадочном состоянии, которое я не мог не заметить, но приписывал это только его стесненному положению.

Через несколько времени после моего приезда в Москву Бакунин уехал, кажется, в деревню... С Боткиным Белинский не виделся (он снова сошелся с ним уже после возвращения моего из Казани). Его навещали только Клюшников и Кудрявцев, который был еще студентом. Белинский, как я уже говорил в моих «Воспоминаниях» о нем, полюбил Кудрявцева за его эстетический вкус, за его, как он выражался, тонкую, нежную натуру. Они часто толковали о современных литературных деятелях и перечитывали лучшие, по их мнению, произведения русских поэтов. К числу таковых они причисляли так называемые патриотические стихи Пушкина («Бородинская годовщина» и к «Клеветникам России»), «Чернь», к «Поэту», «Пророк» и другие. Белинский с увлечением отзывался об этих стихотворениях и часто читал их наизусть, прибавляя обыкновенно в заключение:

– Вот где Пушкин является истинным, великим художником!..

\* \* \*

...Однажды вечером я возвращался откуда-то с Белинским домой. На Арбатской площади попался нам навстречу молодой человек небольшого роста, полный, румяный, очень приятной наружности, с вьющимися темными волосами, в очках. На нем был студентский сюртук.

Увидев Белинского, студент с юношеским неудержимым увлечением бросился к Белинскому, схватил с жаром его руку и воскликнул, запыхавшись:

– Виссарион Григорьич! Как я рад вас видеть, Виссарион Григорьич!..

– Ах, здравствуйте, – отвечал сухо Белинский, видимо смущенный таким внезапным нападением на него, и взглянул на студента холодно и резко, как бы спрашивая: «что вам от меня нужно?»

Студента, кажется, покорило от этого взгляда; он произнес еще несколько слов и удалился, смущенный. Мне стало жаль его...

– Кто это такой? – спросил я, – и отчего вы с ним обошлись так холодно?..

– Это бывший мой ученик, – отвечал Белинский, – Кавелин, мальчик очень умный, горячий, с большими способностями, подающий большие надежды; но я терпеть не могу, когда мальчишки пристают ко мне, – ну, о чем мне толковать с ними? Что я могу иметь с ними общего?

Студент этот был тот самый Кавелин, который через несколько лет после этого получил блестящую известность на кафедре Московского университета и присоединился к кружку Белинского. Кавелин припоминал не раз Белинскому об этой встрече, и оба они очень смеялись...

В этот вечер Белинский был очень не в духе, обнаруживал особенное раздражение и жаловался на боль в груди...

Когда я зашел к нему, он бросился в кресло, совершенно ослабленный и тяжело дыша. Несколько минут он не говорил ничего. Наконец, бледный, с страдающим лицом, он обратился ко мне.

– Нет, – сказал он, – мне во что бы то ни стало надобно вон из Москвы... Мне эта жизнь надоела, и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида Краевского?

Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о гибели «Наблюдателя», объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять на себя критический отдел в «Отечественных записках». Я не скрыл от него, как г. Краевский отзывается об нем.

– Он вполне надеется, – прибавил я, – что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении.

Белинский горько улыбнулся.

– Ну, нечего сказать, – хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич – бесталаннейший смертный, совершенная тупица... Межевич ничего не может сделать; ему понадобится непременно другой человек; а вы между тем намекните ему, что я не прочь... разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о Менцеле – и расхвалите ее, разумеется, как можно больше, и прибавьте, что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана, – ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним да обделайте это дело половчее... Не говорите ему об моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня...

В письмах к г. Краевскому я говорил всякий раз что-нибудь о Белинском и его кружке... Г. Краевский между тем завел переписку с Катковым, который через меня обещал ему статью для журнала. Уже в первых письмах г. Краевского ко мне заметно было, что бессилие и неспособность Межевича начинали тревожить его, и я не сомневался, что только чувство собственного достоинства мешает ему обратиться прямо к Белинскому. Воспользовавшись этим, я написал г. Краевскому прямо, что Белинский предлагает ему свое сотрудничество, что недурно было бы, если он перепечатает в своих изданиях превосходную статью Белинского о «Сыне отечества» Полевого, что у Белинского есть статья о Менцеле, которая производит в Москве фурор и которую он не прочь был бы прислать в «Отечественные записки»...

В ответ на это я получил от него письмо (от 20 июня). Он писал мне, между прочим, следующее:

«Статья о „Сыне отечества“ перепечатается (если она едка) в „Литературных прибавлениях“ из „Наблюдателя“ под таким названием: Справедливое суждение „Московского наблюдателя“ о „Сыне отечества“, в pendant к Справедливому суждению „Сына отечества“ об „Отечественных записках“, перепечатанному в „Пчеле“...»

Прошу Белинского статью о Менцеле и душевно рад его будущему сотрудничеству. Поклон ему от меня низкий и вопрос: „как устроится это сотрудничество? по каким частям?“ и проч.»

Я тотчас же отправился с этим письмом к Белинскому. На Белинского оно произвело очень благоприятное впечатление. Он повеселел. Г. Краевский почувствовал необходимость прибегнуть к крикуну-мальчишке для поддержания своего журнала. Белинскому открывалась возможность оставить Москву и расплатиться с своими долгами. Перемена жизни улыбалась ему.

В письме г. Краевского была, между прочим, следующая приписка:

«Ради бога, скажите Каткову, что это он со мною делает? не шлет до сих пор окончания своей статьи! Я уж писал к нему об этом, – а он все медлит. О, Москва! Москва!...»

Последнее восклицание очень понравилось Белинскому...

– Это правда, – заметил он: – все мы, москвичи, – прекрасные и умные люди, но всё делаем как-то спустя рукава. В нас недостает безделицы – настоящего практического смысла и настоящей деятельности... На словах мы герои, а чуть до дела...

Белинский не докончил фразы, махнул рукой и повторил, смеясь: «О, Москва! Москва!...»

Перед отъездом моим в Казань, в июле месяце, дело о переезде Белинского в Петербург было решено. Он принял условия г. Краевского: г. Краевский должен был ему выслать к осени вперед незначительную сумму на уплату долгов и на отъезд и обязался платить ему три тысячи пятьсот рублей ассигнациями в год, с тем, чтобы Белинский принял на себя весь критический и библиографический отдел «Отечественных записок». Мы решили ехать в Петербург вместе после возвращения моего из Казани в Москву.

\* \* \*

Я вернулся в Москву в начале октября.

10 октября я получил письмо от г. Краевского. Вот отрывки из него:

«Христа ради, хлопчите сами, подбейте Павлова и Погодина, чтоб вырвать у Гоголя статью для „Отечественных записок“. Кстати. Я объявил было в „Литературных прибавлениях“ о приезде Гоголя в Москву; но Плетнев сказал мне, что получил от него письмо с просьбою – никому не объявлять, что он в Москве... Жуковский сказывал мне, что Гоголь через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. Растолкуйте ему необходимость поддерживать „Отечественные записки“ всеми силами. Если же он сделался равнодушен к судьбам „российской словесности“, чего я не ожидаю, то покажите ему впереди за статью хорошие деньги, в которых он, верно, нуждается. Если ж ничто не возьмет, то надо дожидаться приезда его сюда и здесь напасть на него соединенными силами...»

«...Виссариону Григорьичу низкий поклон и благодарение за статьи его. В статье о „Бородинской годовщине“ Никитенко выкинул два места: что делать! Он не любит Европы и не хочет признавать, чтоб в ней было что-нибудь порядочное. Прочее все осталось так, как было,

кроме отзыва о Жуковском, который я помягчил. Статья о книге доктора Ратье также изменена мною, потому что один из здешних дельных врачей доставил мне о ней статью: ведь мы с Виссарионом Григорьевичем в этом деле профаны, надо верить тому, кто лучше знает...»

«Утешьте Виссариона Григорьевича: браниться можно обиняками, как увидит он из статьи? витабуки в „Литературных прибавлениях“.<sup>[7]</sup> В статье его для „Литературных прибавлений“ не делано было ни мною, ни Межевичем никаких прибавлений, – все это делал бич журналов – цензор Лангер, а в разборе „Стихотворений Леонова“ (Каткова) – Никитенко...»

«Убедите, бога ради, Каткова отыскать большое письмо, которое я посылал к нему еще в сентябре и которого, как видно из его писем, он не получал. Что же это такое, господи боже мой! Времени мало, урвешься написать – да и то пропадет! Я адресовал его на имя г. Боткина, как сам же Катков просил: отчего же оно пропало? Скоро буду к нему еще писать и уж адресую на имя Галахова. Авось будет вернее!»

«Поблагодарите г. Боткина за его премилую статью о музыке Лангера...»

«Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Ключникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего „Демона“, из которого я хотел напечатать отрывки, и бабы чорт знает куда дели его; а у него уж, разумеется, нет черногого; таков мальчик уродился!..»

«...Жду вас и Виссариона Григорьевича. Ради бога, приезжайте скорее...»

Далее в письме речь о каком-то доносе Булгарина.

Из этого письма видно, что между г. Краевским и кружком Белинского начались уже деятельные сношения...

По возвращении моем в Москву я, к великому удовольствию, увидел, что все недоразумения между Белинским, Боткиным и отчасти Катковым прекратились и что они находятся в полном мире и согласии.

Белинского я застал в очень хорошем расположении духа... Близость отъезда из Москвы и предстоящая перемена жизни оживляла его. Из всех друзей его только один Константин Аксаков смотрел на него с грустью, сожалением и отчасти с досадою. Он не понимал, как москвич может равнодушно оставлять Москву...

Друзья сходились большею частию по вечерам у Боткина... Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля: с этой точки строго разбирали Пушкина и других современных поэтов. Лермонтов с своим демоническим и байроническим направлением никак не покорялся этому новому воззрению. Белинского это ужасно мучило... Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в «Отечественных записках» приводило Белинского в экстаз, – а между тем в этих стихотворениях примирения не было и тени! Лермонтова оправдывали, впрочем, тем, что он молод, что он только что начинает, несколько успокоивались тем, что он владеет всеми данными для того, чтобы сделаться со временем полным, великим художником и достигнуть венца творчества – художественного спокойствия и объективности... Ключников, сам имевший в себе частичку демонизма, очень симпатизировал таланту Лермонтова и довольно остроумно подсмеивался над некоторыми толками о поэте; Катков и К. Аксаков прочитывали свои, переводы из Гейне, Фрейлихграта и из других новейших немецких поэтов. Катков обыкновенно декламировал с большим эффектом, принимая живописные позы, складывая руки накрест, подкатывая глаза под лоб...

Я никогда не забуду этих вечеров...

Сколько молодости, свежести сил, усилий ума потрачено на разрешение вопросов, которые теперь, через 20 с лишком лет, кажутся смешными! Сколько кипения крови, сколько

увлечений и заблуждений!.. Но все это не пропало даром. До истины люди добираются не вдруг... Этот кружок займет важное место в истории русского развития... Из него вышли и выработались самые горячие и благородные деятели на поприще науки и литературы.

Я всей душой привязался к Белинскому и его друзьям. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать некоторую деятельность под их влиянием...

Через несколько дней после моего возвращения в Москву Белинский принес мне прочесть свою рецензию на книгу Ф. Глинки «Бородинская годовщина», которую он отослал для напечатания в «Отечественные записки».

– Послушайте-ка, – сказал он мне: – кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и так решительно высказать наши убеждения. Я читал эту статейку Мишелю (Бакунину), и он пришел от нее в восторг, – ну, а мнение его чего-нибудь да стоит! Да что много говорить, я сам чувствую, что статейка вытанцовалась...

И Белинский начал мне читать ее с таким волнением и жаром, с каким он никогда ничего не читал ни прежде, ни после.

Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение... Белинский сам был явно раздражен нервически...

– Удивительно! превосходно! – повторял я во время чтения и по окончании чтения: – но... я вам замечу одно...

– Я знаю, знаю что, не договаривайте, – перебил меня с жаром Белинский: – меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали...

Он начал ходить по комнате в волнении.

– Да! это мои убеждения, – продолжал он, разгораясь более и более... – Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мне дорожить мнением и толками чорт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих... Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... они знают это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев, – вы ведь еще меня мало знаете...

Он подошел ко мне и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели.

– Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода – я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унижить себя перед кем бы то ни было или продать себя...

Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною...

Он бросился на стул, запыхавшись... и отдохнув немного, продолжал с ожесточением:

– Эта статья резка, я знаю – но у меня в голове ряд статей еще больше резких... Уж как же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмеливается судить об искусстве, ничего не смысла в нем!

...По мере приближения нашего отъезда в Петербург Белинский становился все оживленнее и веселее.

– Теперь уж я не ваш! – говорил он, смеясь, своим друзьям. – Я петербуржец... А вы – москвичи, провинциалы; да, ваша Москва – провинция, что вы ни говорите и как ни гордитесь ею...

Белинский глубоко благоговел перед реформою Петра I и оправдывал ее во всех ее крайностях. Петербург поэтому еще особенно привлекал его...

Кетчер кричал против Петербурга изо всей силы; К. Аксаков, ударяя себя в грудь, восклицал, что Москва выстрадала за Русь, что она искупительница России, что она ее центр, что вся святыня Руси хранится в Москве, а Петербург – город дворцов и казарм, временный лагерь.

– Ничего, – перебил Белинский, – придет время и Петербургу, – он еще молод... Петербург имеет уже одно важное значение, что это – окно, прорубленное Петром в Европу.

К. Аксаков при этом выходил из себя. Хотя еще он не питал той непримиримой ненависти к Петру I, которая развилась в нем впоследствии, – но он и в это время уже не чувствовал к нему расположения...

...День нашего отъезда в Петербург, наконец, наступил. Нас провожали до Черной грязи Боткин, Кетчер и Катков.

Кетчер явился на наши проводы в своем красном плаще, с неизбежным хохотом и еще более неизбежной корзинкой, из которой торчала солома...

Мы, вероятно, долго пробыли бы на станции, потому что Кетчер, по своему обыкновению, расходился, кричал, потрясая бутылкой, подшучивал над Белинским, подавал ему советы, как забрать в руки Краевского – и все это сопровождал хохотом. Белинский, не терпевший шумных и длинных проводов, торопился ехать. Он был молчалив и грустен. Видно, что отрываться от своего кружка ему было нелегко.. Боткин обнаруживал сильное нетерпение...

– Уж поезжайте лучше скорей, друзья, – повторял он, качая головою. – Проводы эти всегда ужасно тяжелы.

– К чему торопиться? вздор! – кричал Кетчер: – да вы не допили еще своих стаканов. – Но Белинский решительно встал. Наша дорожная карета давно уже ожидала нас у подъезда.

– Ну, прощайте, господа, – сказал он, – не забывайте меня...

Все бросились обнимать Белинского. Боткин гладил его по затылку и по голове и, смотря на него с нежностью, говорил: – ну, я рад за тебя, Виссарион... Нам с тобой тяжело расставаться, голубчик, очень тяжело, ты это знаешь, но ведь тебе в Москве оставаться не для чего...

Катков энергически сжимал Белинского в своих объятиях и крепко, несколько раз поцеловал его.

Кетчер поднес ему стакан с шампанским.

– Ну, Виссарион, чокнемся, – сказал он. – Теперь ты должен выпить.

Белинский выпил стакан без противоречия.

– Молодец! – закричал Кетчер, целуя его: – ну, теперь прощай, да смотри же, не поддавайся Краевскому...

Когда карета двинулась и мы высунулись в окно, – Боткин с нежною грустью смотрел на нас, махая своим платком, Кетчер кричал что-то и размахивал фуражкой, Катков стоял неподвижно со сложенными накрест руками, с надвинутыми на глаза бровями, провожая нас глубоким и задумчивым взглядом...

### **Примечания**

7. Статья эта против Греча была написана, кажется, самим г. Краевским, по крайней мере он очень гордился ею и часто ссылался на нее как на образец остроумной полемики.